**ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ**

Сергей Дмитриевич Сарицкий, редактор отдела поэзии одного из толстых литературных журналов Москвы, считал себя диссидентом. Основания для этого у Сергея Дмитриевича имелись самые прочные.

– Советская власть?.. – говорил Сергей Дмитриевич в кругу избранных знакомых – о таких вещах не принято было говорить со всеми подряд. – Я вас умоляю! Что это вообще такое?..

Тут лицо его принимало такое выражение, как будто бы земляная жаба запрыгнула ему в пивную кружку.

– Власть рабочих и крестьян? Пардон, но я-то здесь при чём?..

И в этом не было ни тени лукавства – Сергей Дмитриевич и в самом деле не имел никакого отношения ни к рабочим, ни к крестьянам. Он родился на следующий после войны год в семье московских врачей.
В самом начале второй половины века была арестована его мать. Долгие годы Сергей Дмитриевич понятия не имел, что стало тому причиной, как сложилась судьба его матери и где, в конце концов, её могила. Отец долгое время казался убитым горем, и говорить с ним об этом было невозможно. И лишь спустя годы Сергей Дмитриевич, как и миллионы других людей, узнал в подробностях и про культ личности, и про репрессии, и про множество осуждённых и расстрелянных. И тогда он всё понял. Причины ареста и окружавшего его молчания стали очевидны: семья Сергея Дмитриевича по велению рока оказалась жертвой сталинских репрессий. К тому времени Сергей Дмитриевич обзавёлся привычкой задумываться, и раздумья, сойдясь в одной точке, сложились в единую систему. Вот тогда-то Сергей Дмитриевич и понял, что власть рабочих и крестьян не имеет к нему никакого отношения. Он стал морщиться и внутренне передёргиваться при этих словах. Каких рабочих? Каких крестьян? Он-то, понятное дело, не относил себя ни к тем ни к другим.
А если эта самая власть не желает сближаться с такими, как он, то почему отвергаемые властью должны её приветствовать, а то и защищать?..

Впрочем, так Сергей Дмитриевич думал не всегда. Потому что сначала, как это и положено, было детство. С родителями и с младшей сестрой Ленкой они прекрасно устроились в двух великолепных комнатах арбатской коммуналки окнами во двор. Всякий человек, вошедший в квартиру, сперва оказывался в маленькой тёмной прихожей, от которой тянулся коридор, освещённой единственной и весьма тусклой лампочкой. В прихожей и коридоре стоял неубиваемый запах валерьянки, лавровишневых капель и гуталина.

В одной комнате из занимаемых Сарицкими имелся буфет и обеденный стол, в другой – детской – книжные полки и маленький секретер. Напротив Сарицких жила одинокая старуха Марья Гавриловна, про которую говорили, что она «из бывших», и Сергей Дмитриевич – в те времена Серёжка – никогда не задумывался, что это означает. Марья Гавриловна была рослой худой старухой с высокой причёской на седых, но всё ещё пышных волосах. Морщинистое лицо её всегда было сосредоточенно, огромные бледно-голубые глаза смотрели настороженно. Глядя на Марью Гавриловну, можно было подумать, что этой благородной пожилой даме известна какая-то страшная тайна, рассказать о которой она не решается.

Иногда Серёжка заходил к Марье Гавриловне посмотреть фотографии, развешанные по стенам комнаты. Это были изображения красивых женщин в длинных платьях и в крупных перстнях, а заодно и мужчин с тросточками или в военной форме.

– Это белогвардейцы? – спросил как-то Серёжка.

Марья Гавриловна забормотала что-то непонятное, так что Серёжка ничего не понял, а уточнять не решился. Зато Марья Гавриловна поила его чаем, рассказывая дребезжащим голосом всевозможные небылицы про Москву, про Арбат и про их дом. Так, от Марьи Гавриловны он узнал, что в их особнячке жила когда-то семья и что именно тут, в их комнатах, случилась какая-то драма – муж убил свою жену за неверность. Серёжка опять половины не понял, однако успел испугаться, потому что Марья Гавриловна, потчуя гостя вишнёвым вареньем, заверила, что с тех самых пор в доме появляется призрак убиенной и что будто бы сама Марья Гавриловна как-то раз видела незнакомую женщину.

– Она взглянула в мою сторону, – тихо продребезжала Марья Гавриловна, приподняв правую руку и устремив глаза куда-то поверх Серёжкиной головы, – и сказала так: «Он убил меня… Он убил меня свободой…»

Серёжке эта история очень понравилась. Призрак в квартире – это не хуже, чем собственный футбольный мяч или перочинный нож. Однако с тех пор он не мог заставить себя выйти ночью из комнаты, отчего начал испытывать трудности самого неприятного толка. Когда же родителям удалось добиться от него признания и Серёжка рассказал
о призраке, Марью Гавриловну обвинили в запугивании пионеров околорелигиозной ересью. И теперь уже настала очередь Марьи Гавриловны пугаться. И она действительно перепугалась не на шутку. Больше
о призраках не рассказывала, а Серёжка, хоть и не прочь был бы послушать, сам уже не спрашивал.

Через стенку от Серёжкиной с Ленкой комнаты проживала учительница русского языка и литературы Инна Леонидовна – маленькая, худенькая, с широко распахнутыми чёрными глазами, похожая больше на ученицу. Инна Леонидовна так была увлечена русской литературой, что даже дома у себя, в своей крошечной комнатке, вела литературный кружок, собирая каких-то девчонок, являвшихся по четвергам с книжками и тихонько, по-мышиному, пробиравшихся в комнату своей учительницы. А затем так же выбиравшихся наружу.

Напротив Инны Леонидовны и через стенку с Марьей Гавриловной жил другой учитель – Константин Ардалионович, преподававший историю в одной школе с Инной Леонидовной и слывший непримиримым антагонистом литераторши. Об историке было известно, что он коммунист, что дошёл до Берлина и вернулся, прихрамывая на левую ногу. Долго ещё после войны он носил исключительно военную форму. Конечно, без знаков отличия. На левой щеке у него был длинный
и тонкий шрам, а на правой руке недоставало среднего и безымянного пальцев, что давало Константину повод шутить о невозможности женитьбы – не на что было надеть обручальное кольцо.

Когда впервые Серёжка понял, что Константин не просто смеётся над Инной, а, пожалуй, и презирает её, он очень удивился. В первую очередь странным показалось Серёжке, что учителя, да ещё из одной школы, могут враждовать по каким-то отвлечённым вопросам. В тот раз Серёжка собирался выйти во двор и уже приоткрыл дверь из комнаты в общий коридор. Как вдруг услышал голоса и, уступив любопытству, замер, прислушиваясь. Сначала в коридоре зашуршали девчонки, покидавшие комнату Инны. Но не успела захлопнуться входная дверь за последней посетительницей кружка, как раздался звучный, командный голос Константина:

– Давно хотел спросить у вас, Инна Леонидовна: чем занимается ваш кружок?

Даже Серёжка уловил в этом голосе насмешку и сразу отчего-то принял сторону историка, ухмыляясь у приоткрытой двери такой нелепости, как кружок на дому.

– Мы занимаемся изучением творчества Достоевского, – голос Инны прозвучал напряжённо и настороженно.

– Интересуюсь, поскольку и сам люблю Достоевского. Но не понимаю, что можно изучать с этими девчонками сверх школы.

– Что вы хотите сказать? – голос Инны дрогнул. – Что девочки не
в состоянии понять?

– Да нет же! Конечно, нет… Я всего лишь сомневаюсь, что в тринадцать-четырнадцать лет человек… как бы это сказать… Ведь ваш кружок собирается раз в неделю или пятьдесят два раза в год. За такое количество времени о любом писателе можно многое сообщить. Можно по косточкам разобрать его биографию и каждое произведение. Вы не находите?

– Допустим. Но я опять же не понимаю, к чему вы клоните.

– Да всего лишь к тому, что в четырнадцать лет… Как, впрочем,
в пятнадцать и даже в шестнадцать большинство людей не в состоянии понять ни прожитого, ни написанного этим человеком. Разумеется, понять так, как следовало бы. Просто потому, что в этом возрасте не хватает… м-м-м… не хватает представлений о жизни. Так стоит ли забивать им головы, когда для них вполне достаточно того, что даётся в школе?

– Мне странно, Константин Ардалионович, слышать, как это вы,
и сами будучи педагогом, заявляете, что Достоевским можно «забивать головы», – с гордым возмущением начала было Инна, но Константин перебил её.

– Ни в коем случае, Инна Леонидовна! – раздался его насмешливый голос. – Я сказал не Достоевским вообще, а Достоевским в таком количестве и в таком возрасте.

– Я отказываюсь вас понимать, Константин Ардалионович! – выпалила Инна. – Вы – историк и отрицаете значение «Дневника писателя» для понимания исторических процессов?

– Я отрицаю не значение «Дневника писателя», дорогая Инна Леонидовна. Я отрицаю возможность понимания этими девочками Достоевского как он есть. Я отрицаю необходимость и пользу изучения такого непростого человека столь юными созданиями.

– Довольно! – взвизгнула Инна. – Не желаю больше слушать этот… этот ортодоксальный бред! Какие-то совиные крылья…

Дальше Серёжка услышал, как застучали Иннины каблучки и как щёлкнул ключ в её двери. Серёжка ждал, что Константин как-нибудь эдак зловеще, по-опереточному, рассмеётся ей вслед. Но вместо смеха услышал печальный вздох и твёрдые солдатские шаги. Оттого ли, что невольно Серёжка встал в этом споре на сторону мужчины, а может, причиной была самоуверенность историка, говорившего тоном, не допускающим сомнений, но Серёжка решил тогда, что правда на стороне историка. Дождавшись, когда все разойдутся, Серёжка прошмыгнул по коридору и тихонько, отправляясь во двор, прикрыл за собой дверь.

В те времена, несмотря ни на что, все были счастливы. Главное, что кончилась война, что можно было мечтать, учиться и читать в своё удовольствие. А ещё можно было гулять во дворе, куда стекались самые разные обитатели ближайших особняков и коммуналок. В любое время года, но особенно весной и летом, двор гудел как улей и звенел, как птичий базар. Стайка девчонок возле сараев занималась прыгалками. Стоя друг напротив друга, двое старательно крутили верёвку, третья подпрыгивала, выгибая спину. Ещё несколько девочек тут же громко считали прыжки в ожидании своей очереди. Другая девчачья компания переминалась возле нарисованных на асфальте квадратов, наблюдая, как одна из подружек, поджав левую ногу, старательно перепрыгивала из квадрата в квадрат на правой. Серёжка только на минутку задержался поглазеть на девчонок, после чего помчался на другой край двора, где шла ожесточённая битва в «бабки-дедки»
и в «ножички», и Шурка то бросал свой нож и с запястья, и с локтя,
и с плеча, то кусок за куском занимал чужие территории внутри начерченного на земле круга.

**\* \* \***

Родители Серёжки работали, Серёжка пошёл в школу, Ленка ходила в сад. Субботними летними вечерами после короткого рабочего дня всей семьёй отправлялись на дачу у станции Луговая по Савёловской дороге. Но больше всего Серёжке нравилось, когда они плыли на речном трамвае, а потом шли пешком, петляя между берёз и собирая дорогой грибы или ягоды. Серёжка обожал канал со всеми шлюзами и корабликами на постаментах, обожал водохранилища и лодочные пристани.

Зимой они брали лыжи и отправлялись кататься. На электричке можно было поехать на ту же Луговую и кататься по лесу, можно – на Перемиловские высоты. А ещё можно было выбрать какое-нибудь совершенно незнакомое место Подмосковья и, сойдя с электрички
и встав на лыжи, обследовать его до наступления сумерек.

Праздники тоже были весёлые. В комнате родителей накрывали стол, приходили их сослуживцы, приглашались соседи. Серёжка
менял пластинки на патефоне, а гости танцевали, насколько позволяла комната. Пластинок было всего несколько – фокстрот «Моя красавица», «Танго соловья», Лемешев, сладкозвучно выводящий «Моя любимая», фокстрот «Неудачное свидание» и две пластинки Руслановой
и Шульженко. Репертуар не отличался разнообразием, было тесно, зато шумно и весело. Гости так беззаботно и даже самозабвенно танцевали, смеялись и пели, что с пространством и в обычное-то время небольшой комнаты начинали происходить какие-то метаморфозы. Пространство это словно бы раздвигалось, меняя свою сущность, превращаясь
из тыквы в карету.

Но вдруг в одночасье всё рухнуло. Началось с того, что как-то вечером в дверь очень настойчиво позвонили, после чего в квартиру ввалилась группа людей. И в коридоре запахло кожей, мокрой шерстью
и табаком. Из комнат стали выглядывать и выходить жильцы. Оказавшаяся в коридоре Инна Леонидовна пробормотала что-то очень странное, что-то вроде: «Угу… именем революции… как же…»

В квартире тут и там замелькали голубые пятна околышей. Красивый загорелый офицер, обращаясь с вопросами к жильцам, жемчужно улыбался. Нарочитая вежливость его, равно как и обескураживающая улыбка, никак не вязались с перетряхиванием вещей. Серёжка не понимал, что происходит. Но мать заплакала, и Серёжка с Ленкой тоже заплакали. Их отвели к Марье Гавриловне и запретили выходить. Они так и уснули в чужой комнате, а наутро, едва проснувшись, Серёжка услышал перепалку учителей. Разговор, начало которого осталось неизвестным, зародился, по всей видимости, на кухне, откуда Инна предпочла ретироваться. Константин же настиг её в коридоре.

– Вас ли я слышу! – почти пропел он.

– Что вам от меня нужно? – огрызнулась Инна.

– Вы с вашим кружком достоевцев отвергаете пользу страданий? Может ли это быть?

– Ваш цинизм, Константин Ардалионович, не знает пределов. Вы не перестаёте меня удивлять, – гордо парировала литераторша. –
Но не вижу связи между… между горем этой семьи, этих детей и творчеством великого писателя. В кружке, как вы изволите выражаться, мы изучаем творчество, литературное наследие. А тут…

– Вот то-то и странно, Инна Леонидовна, – настойчиво продолжал Константин, – идеи великого писателя проповедуете, а связи их с жизнью не видите. Стало быть, не понимаете вы своего кумира.

– А вы сами понимаете, что вы говорите и о чём? – как будто сквозь зубы процедила Инна, явно задетая историком за живое.

– Мне ли не понимать! Только я Достоевского в кружках не проповедую…

– Я, представьте, тоже ни в каких кружках ничего не проповедую, – перебила его теряющая терпение Инна.

– О страданиях толкуете, а сами страданий не приемлете. Как же это? А, Инна Леонидовна?

– Вы… вы… – взвизгнула литераторша, видимо, окончательно потерявшая терпение.

– Да вы не серчайте так, Инна Леонидовна, – невозмутимо продолжал Константин. – Будто бы и не за что было её арестовывать? Почём вы знаете? А кроме того, как быть с «все за всех виноваты»? М-м-м?.. Или уж и не виноваты вовсе? Митя-то как же?

– Это подло, Константин Ардалионович, – снова сорвалась на визг Инна. – Это подло, и смех этот подлый!

– Если я над кем и смеюсь, Инна Леонидовна, – отчеканил Константин, – так, разумеется, не над этими несчастными детьми, как вы изволили выразиться. И не над их матерью, о которой я, к слову, почти ничего не знаю. Мне смешны дамочки, рассуждающие о сложных вещах, но не понимающие самой сути этих вещей.

Инна ахнула громко, а Константин продолжал:

– Мне смешна ваша нелюбовь к большевизму на фоне вашей любви к Достоевскому. Понимай вы по-настоящему Достоевского, вы бы молились на большевиков…

– Что вы… – с истерическими нотками в голосе воскликнула Инна, –
что вы говорите? Я никогда… Откуда вы взяли?

– Да не бойтесь вы, не собираюсь я никому говорить…

Но Инна, громко всхлипнув, побежала к себе, дробно стуча каблучками.

Марья Гавриловна, сидевшая у стола с картами и раскладывавшая пасьянс, внимательно прислушивалась к перебранке, буравя глазами дверь. Когда Инна убежала, Марья Гавриловна повернулась к дивану, на котором лежали Серёжка с Ленкой и, встретившись с Серёжкой глазами, продребезжала:

– Бедные деточки…

**\* \* \***

С того дня у Серёжки не стало матери, а жизнь круто переменилась. С одной стороны, вокруг всё шло своим чередом: крались по коридору девчонки с косицами и томиками Достоевского; переругивались литераторша с историком; во дворе то разбивались двенадцать палочек, то набивалась жёстка. Но с другой… С отцом творилось что-то странное –
казалось, он лишился рассудка. Серёжка был уверен, что отец не видит ни его, ни Ленки. Он ни с кем не разговаривал и дома ничего не ел. Перестал бриться и за короткое время совсем обносился. Сначала Серёжку с Ленкой кормили соседи. Но потом явилась сестра матери тётя Катя и, сказав, что отец заболел, увезла Серёжку к себе.

– А Ленка? – спросил Серёжка.

Но тётя Катя объяснила, что Ленка поедет к тёте Маше в Ленинград. Так Серёжка оказался один в маленькой квартире в Сокольниках. Жизнь его протекала теперь главным образом на кухне. Здесь он спал на раскладушке, здесь глотал нехитрые завтраки-обеды, здесь же учил уроки за обеденным столом. Но кухонное житие длилось недолго, потому что через несколько месяцев тётка была вынуждена оставить столицу, сменив Сокольники на какой-то безвестный район Чердыни. Серёжка наде-
ялся, что отца выпишут из больницы и вместе они вернутся на Арбат. Потом привезут Ленку и будут ждать возвращения матери. Но всё вышло совсем не так. Об отце не было ни слуху ни духу. И Серёжке довелось ехать не на Арбат, а в Рязань к дяде Коле – брату отца.

Новое пристанище Серёжке совершенно не понравилось. Во-первых, жить пришлось не в квартире, как он привык, а в домике-пятистенке, следовательно – терпеть удобства во дворе и мириться с новыми обязанностями. Теперь Серёжке поручали то принести воды
с колонки, то натаскать дров для печки, то вымести двор. Новая семья, приютившая Серёжку, относилась к нему по-доброму, даже ласково.
Но поскольку каждодневная работа была для них делом привычным
и рутинным, то не было никаких причин делать исключение для Серёжки.
И Серёжка наравне со всеми таскал воду, копал грядки, собирал картошку. Теперь его домочадцами были дядя Коля с тётей Аней, мать тёти Ани – бабушка Поля и взрослые кузены – Ваня и Галя. При этом дядя Коля, Ваня и Галя напоминали Серёжке отца – такие же белокурые
и кареглазые, улыбчивые и молчаливые.

Ваня учился в военном училище, а Галя готовилась поступать в училище художественное. Поселили Серёжку в комнату бабушки Поли, старушки вроде и доброй, но уж очень любившей поговорить ни о чём. И Серёжка был вынужден слушать разный вздор: что раньше были другие, настоящие зимы – не чета нынешним; что хлеб из печки вкуснее хлеба из лавки; что собака Жучка совсем распустилась и неизвестно, какие мысли у неё в голове.

Дома Серёжка спал на диване. У тёти Кати в Сокольниках – на раскладушке. Теперь же дядя притащил для него железную кровать с панцирной сеткой, звеневшей и скрипевшей, как якорная цепь. Всё стало совершенно по-другому в жизни Серёжки. Первое время после ареста матери он жил словно в тумане. Оказавшись у тётки, он затосковал
и проливал ночами слёзы в подушку. Едва боль чуть поутихла, и Серёжка стал привыкать к новой обстановке, как опять оказался в одиночестве. Когда же дядя привёз его в Рязань, когда Серёжка познакомился
с Ваней и Галей, когда разделил комнату с бабушкой Полей, стало казаться, что всё это он видит во сне. Очередной виток короткой его жизни закручивался невероятным, неправдоподобным образом. Временами Серёжка сам не верил в происходящее с ним и думал, что стоит лишь проснуться, как он окажется в своей комнате на Арбате, солнце будет пригревать сквозь окно, со двора будет слышна метла и нехитрая песня дворника Ахмеда, с Садового – звуки стройки, а из коридора – спор истории с литературой. За стенкой окажутся родители, на соседнем диване – Ленка, а за окном – Москва… Но ничего этого не было,
и проснуться не удавалось.

Однако время, как известно, лечит глубокие раны. Серёжка учился, помогал по хозяйству, обзавёлся приятелями, а летом в компании дяди и тёти даже совершил круиз по Оке, любуясь пологими, поросшими травой берегами. Вернувшись из круиза, Серёжка записался в бассейн. И с сентября дважды в неделю отправлялся плавать. Было у него
и ещё одно важное дело: он дал себе слово прочитать всего Диккенса и понемногу продвигался на этом поприще. А следующим летом Ваня предложил отправиться в Астрахань.

– Своим ходом. Понимаете?.. – объяснял Ваня. – Только мы и рюк-
заки.

После всех обрушившихся на него несчастий Серёжка просто отказывался верить, что такое возможно. И лишь когда они с Ваней, двумя его однокурсниками, а ещё с Галей и её подружкой Олей забросили тяжеленные рюкзаки за плечи и вышли за калитку, Серёжка возликовал. О! Какое это было счастливое лето. Весь мир принадлежал только им, когда они оставляли отпечатки своих кедов на песке сосновых лесов Мещеры или в пыли Сталинградских степей. Мир улыбался им, одаривая теплом солнечных лучей и добротой встречавшихся людей. Они не знали голода и жажды, нужды и отчаяния. Они были счастливы, не прилагая к тому никаких усилий… «Остановись, мгновение!» – хотелось кричать Серёжке. Но – увы.

**\* \* \***

Следующее мгновение оказалось совсем иным. Отучившись, Ваня и Галя один за другим уехали. Через год после их отъезда умерла бабушка Поля. Повзрослевший Серёжка переехал в комнату Вани и стал задумываться. Когда человек взрослеет, он всегда задумывается. И независимо от того, кто и к каким выводам придёт, первая мысль у всех взрослеющих одинаковая: будущее прекрасно, и нужно предпринять какие-то шаги, чтобы стать частью этого будущего. Вторая мысль, связанная с открытием, что взрослые глупы и ничего не понимают, тоже, как правило, настигает почти всех взрослеющих. Неудивительно, что
и Серёжка подумал о том же самом.

У дяди был патефон, и Серёжка, крутивший пластинки ещё в Москве, а ныне заведовавший школьным музыкальным хозяйством в виде патефона и приносимых ребятами пластинок, охотно заводил музыку и на дядином аппарате, сожалея лишь о скудости репертуара – ничего, кроме Шульженко да «Рио-Риты» дома не было. Но однажды, обживаясь в Ваниной комнате и разбирая какие-то коробки, сваленные в углу, Серёжка наткнулся на несколько пластинок с английскими
и немецкими надписями. Золотые иностранные буквы выглядывали из круглых окошек бумажных конвертов и, казалось, подмигивали Серёжке, маня к себе. Поскольку дядя с тётей ещё не вернулись с работы и разрешения спрашивать было не у кого, он поспешил к патефону.
На пластинках оказались записи Бернара Этте, Арти Шоу, Бенни Гудмена, Глена Миллера… Бог мой! Серёжка и подумать не мог, что рядом
с ним всё это время лежало такое сокровище. Он поставил All the Things You Are – Хелен Форрест пела с оркестром Арти Шоу – и замер. Это было волшебно, у Серёжки даже слёзы навернулись. Ему нравилось всё – кларнет Арти, голос Хелен, тромбон и труба. Но больше всего пленил Серёжку саксофон, который он, разумеется, слышал и раньше. Однако на дядиной пластинке – возможно, в сочетании с английским языком – звучал саксофон совсем по-другому. Голос инструмента, дополненный чужой речью, как будто изменил тембр или заполучил дополнительный лад. Так или иначе, но музыка словно окутала Серёжку, обвила алым шёлком, и он хотел, чтобы эти чары никогда не спадали.

В школе на танцах они заводили, в основном, Утёсова или Цфасмана. Но то ли отечественный джаз поднадоел и хотелось чего-то нового, то ли родина джаза манила к себе, как всякий запретный плод, а может, дело было в «трофейных», как их называли, фильмах, только Серёжка с каких-то пор воспринимал весточки из-за океана как приглашение
в сказку. Он, наверное, тысячу раз уже видел «Серенаду солнечной долины», «Сто мужчин и одну девушку», «Тарзана», «Леди Гамильтон» и даже «Девушку моей мечты», не вникая, кто из них действительно трофейный, а кто – подаренный или купленный. Главное было совсем в другом, и это другое гнездилось где-то на уровне чувств, не подвластных полноценному и всестороннему пониманию. Тут смешивалось всё: то, что пережил сам Серёжка, и пробудившаяся однажды обида на тех, кто лишил его матери с отцом и родного дома; красота незнакомой ему жизни на экране и вера в реальность этой жизни; необыкновенные девушки, совсем не похожие на знакомых, и непривычно-изысканные манеры киногероев. И дело было не в том, что, например, экранные красотки превосходили красотой живых, известных Серёжке девушек. Просто те, что на экране, принадлежали, казалось, какому-то другому миру – миру счастья и благополучия, изящества и неги; миру, незнакомому с грубостью и печалью. Конечно, большинство фильмов, виденных Серёжкой, были не какие-то заокеанские, а самые обычные советские. И показывали в них, главным образом, местных людей, знакомых Серёжке по школе, улице, магазину. Пусть что-то было приукрашено в ту или иную сторону, но всё равно это было кино о жизни, виденной каждый день. Отсюда Серёжка делал вывод, что и *то* кино, хотя бы и приукрашивая немного, показывало всамделишную жизнь и настоящих людей. И *та* жизнь отличалась от знакомой жизни так же, как девушки в шелках отличались от девушек в ватниках.

Всё в целом создавало у Серёжки иллюзию, будто мир «трофейных» фильмов действительно существует, будто и в самом деле есть на земле такое место, где все без исключения благоденствуют. А иллюзия мало-помалу порождала желание принадлежать к этому благословенному миру.

Найдя пластинки, Серёжка вечером попытался выяснить у дяди, откуда они. Но обычно улыбчивый дядя только нахмурился и, как будто пересиливая себя, пробормотал:

– Трофейные. С войны привёз.

И тут же умоляюще заглянул Серёжке в глаза:

– Плюнь ты на них! Одни стиляги и слушают. Сам не знаю, зачем приволок. Тогда всё по-другому казалось. А сейчас… Плюнь, говорю!

Серёжка представил, как бы это выглядело, согласись он с предложением дяди, и невольно заулыбался. Дядя понял, о чём подумал племянник, и, тоже заулыбавшись, сказал примирительно:

– Ладно, слушай, если охота.

Но на всякий случай добавил:

– Только не увлекайся!

И погрозил пальцем.

Серёжка был счастлив. Стиляги его не особенно интересовали,
а вот американский джаз… You are the promised kiss of springtime… – мурлыкал он себе под нос, представляя, как держит в руках саксофон. Серёжка не думал, кто он – ресторанный ли лабух или настоящий артист, выступающий на большой сцене. Ему захотелось прикоснуться, приобщиться, научиться делать то, что нравится. Для чего он учился кидать ножичек с плеча или запястья? Для чего осваивал стойку на руках или карточные фокусы? Ведь не собирался же он работать в цирке или веселить народ на ярмарке. Просто ему нравилось, как это делали другие, и самому хотелось уметь так же. Но если карточным трюкам он научился по книжкам в библиотеке, то с саксофоном всё было сложнее. В той же библиотеке можно было найти самоучитель. А вот инструмент… Достать инструмент оказалось делом нелёгким. В музыкальном магазине можно было – обладая, конечно, необходимой суммой, – купить гитару или балалайку, бубен или барабан, в конце концов, даже скрипку или валторну. Но только не саксофон. А на вопрос Серёжки «есть ли саксофоны?», молодой продавец с зализанными назад волосами ответил лениво:

– В Москву езжайте, юноша. У нас вряд ли дождётесь.

Серёжка ещё потоптался в магазине, потрогал блестящий бок валторны и поплёлся домой. Выходила интересная штука. Через год он оканчивал школу, и ему предстояло определиться с собственным будущим. Даже и дядя уже не раз заводил этот разговор. Когда несколько лет назад дядя впервые задал Серёжке вопрос, что́ тот намерен делать после восьмого класса, Серёжка понял: дядя считает, что с племянника довольно и восьмилетки. Наверняка дядя уже напредставлял себе, как помогает Серёжке поступить в училище, а после устроиться на завод и как они вместе идут к проходной под завывания гудка. Но такая перспектива вызывала у Серёжки отторжение. С некоторых пор он хорошо усвоил, что его дом в Москве, а здесь, в Рязани, он оказался по недоразумению. Потом вдруг припомнилось, что мать когда-то мечтала, чтобы сын стал архитектором. В этом было что-то неуловимо печальное, что-то вроде последней воли, которую Серёжке надлежало исполнить. Он вовсе не грезил архитектурой, но на дядин вопрос так категорично заявил о намерении стать архитектором, во исполнение материнской воли, что у дяди отпало всякое желание продолжать разговор. Правда, спустя время к обсуждению вернулись. Но дядя и не пытался обсуждать Серёжкино решение, а всего лишь предложил племяннику поработать на заводе летом.

Серёжка не стал отказываться. Однако предложение истолковал по-своему: либо таким образом дядя всё же пытается завлечь его на завод, рассчитывая, что племяннику понравится, что появятся друзья, а может быть, и подруги, и тогда, вполне вероятно, уезжать в Москву не захочется; либо дядя намекает, что не может вечно содержать племянника и что пора бы ему и самому сделать взнос в семейный бюджет. Второе Серёжка счёл справедливым, а первое – наивным.

Когда они впервые отправились вместе на работу и дядя с увлечением рассказывал, что какой-то заводской конструктор получил за разработку двухрядной сажалки Государственную премию, Серёжке хотелось фыркнуть. Неужели дядя Коля настолько наивен, что воображает завлечь его какой-то двухрядной сажалкой? Или он думает, что Серёжка загорится изобрести трёхрядную сажалку? Но оказалось, что дядя ничего такого и не думал. Более того, когда Серёжка принёс домой свою первую зарплату, дядя с тётей отказались её забирать.

– Ты вот что, – сказал дядя Коля. – Ты деньги эти оставь – не прогуливай. Поступишь учиться – они сгодятся. На книжку бы их положить.

На другой день они отправились в ближайшую сберкассу и на имя Сергея Дмитриевича Сарицкого оформили сберкнижку. На обратном пути Серёжка, обуреваемый противоречиями, не проронил ни слова. Сама по себе сберкнижка вызвала у него неожиданный прилив гордости – он ощутил себя взрослым и самостоятельным. Отказ дяди забрать зарплату удивил и несколько даже пристыдил его. Получалось, он не знал своего дядю и думал о нём плохо. Уже около дома, положив руку на зелёную штакетину калитки, Серёжка вдруг остановился и, потупившись, сказал:

– Спасибо, дядь Коль…

Дядя усмехнулся и только молча потрепал его по плечу. Они пошли домой, на тётины расспросы дядя Коля сказал:

– Порядок!

И они сели ужинать.

С тех пор на летних каникулах Серёжка работал на заводе. Но если
в бескорыстии дяди он убедился, то от подозрений в хитрости родственника долго ещё не мог отрешиться. И дал себе слово не поддаваться ни на какие посулы и блага.

Ещё в детстве – там, на Арбате – Серёжка был человеком общительным, но не очень-то открытым. Скорее – себе на уме. Знакомых у него всегда было много, друзей – единицы. И в школе, и дома у дяди с тётей, и на заводе он легко общался, но ни с кем не сходился и никому заветных дум не поверял. Сказалось ли на его характере всё то, что довелось ему пережить, или просто таков уж он уродился – трудно установить. О том, что после 10-го класса он едет поступать в Москву, знали только дома. Да и то – дядя был уверен, что Серёжка отправится исполнить последнюю волю матери. Но Серёжка, равнодушный к архитектуре, вынашивал другие планы. Поступить любой ценой в Московский вуз и закрепиться в Москве, вернуться в Москву – такова была его цель. К 10-му классу Серёжка уже не сомневался, что в Рязани делать ему абсолютно нечего. Учёба в московском вузе была спасением. Серёжка долго перебирал в уме все знакомые вузы и остановил выбор на МГУ. Нужно было готовиться к экзаменам – сначала к выпускным, потом
к вступительным. Выпускные он сдал на «отлично», только за сочинение получил 5/4 – подвёл проклятый синтаксис.

Провожая Серёжку на поезд, дядя сказал:

– Ну… Счастливо тебе! Если там что – не переживай. Мы всегда тебя ждём. Да и с учёбой определимся. Не хочешь на завод – найдём тебе другое дело.

Серёжка расцеловался с дядей Колей и тётей Аней, утиравшей слёзы, не меньше десяти раз пробормотал «спасибо», пообещал писать письма, а по прибытии – дать телеграмму и забрался в вагон. Высунувшись из окна, он долго ещё махал провожающим его родственникам, разгоняя призрак обиды на дядю, усомнившегося в его успехе, и думая о том, что, возможно, видит их в последний раз.

**\* \* \***

Сентябрь выдался тёплым, сухим и солнечным. Как-то в четверг учитель истории, а по совместительству директор школы, Константин Ардалионович Филиппов вернулся с работы раньше обычного. В коммунальной квартире, где он проживал, никого не было. А Константин Ардалионович очень любил такие часы, когда можно было побыть
в одиночестве. Теперь он занимал две комнаты по правой стороне коридора. Три комнаты напротив были отданы семье инженера Пестовских, проживавшего с супругой, двумя малолетними детьми и тестем.

И вот, когда Константин Ардалионович, отобедав и устроившись на диване с «Посмертными записками Пиквикского клуба», предался раздумьям об удовольствии и пользе редкого отдыха в одиночестве,
в прихожей зазвонил телефон.

– Слушаю, – устало произнёс Константин Ардалионович в трубку, где-то в глубине души желая, чтобы звонивший понял, насколько несвоевременен его звонок.

– Здравствуйте, – отозвался молодой и приятный мужской голос, – пригласите, пожалуйста, Константина Ардалионовича.

Константин Ардалионович вскинул брови, что означало недоумение и в то же время настороженность, и сухо ответил:

– Я слушаю. Говорите.

– Константин Ардалионович? – воскликнула трубка чуть ли не
с восторгом. – Вы меня не узнаёте?

Филиппову показалось, что в трубке и в самом деле прозвучали какие-то знакомые нотки, но узнать говорившего не получалось.

– Извините, – растерянно проговорил он, – не узнаю…

– Это Сергей… ну, Серёжка Сарицкий – сосед ваш. Помните?

И тут внутренним зрением Константин Ардалионович увидел кареглазого, светловолосого мальчишку с застенчивой улыбкой.

– Серёжа?! Да неужели – ты? – пробормотал Филиппов.

И трубка отозвалась заливистым и, как показалось, нервным смехом. Константину Ардалионовичу захотелось немедленно задать сто вопросов кряду, но он задал только один:

– Ты в Москве?

– Да, – весело ответила трубка, – я учусь. Уже на втором курсе. Вот захотелось проведать старых знакомых. Как там Марья Гавриловна, Инна Леонидовна? Как вы?

– Хорошо… Да нет же, Серёжа! Зачем по телефону? Приезжай сюда! Дома поговорим. Сможешь сегодня? Сейчас?

– Сейчас?.. – Сергей задумался, но в следующее мгновение весело объявил:

– Конечно! Если вы дома, я приеду… через полчаса. Годится?

– Годится! – рассмеялся Константин Ардалионович. – Жду!

Забыв про отдых, следующие полчаса Константин Ардалионович предался воспоминаниям, то и дело возвращаясь к короткому разговору и вновь прислушиваясь к смутно знакомому голосу и резковатому смеху. Воспоминания взволновали Константина Ардалионовича, и стоило раздаться у входной двери звонку, он заметался бесцельно по комнате. Но, быстро собравшись, твёрдым шагом направился к двери, распахнув которую, замер. На пороге стоял высокий, щеголевато одетый парень –
в твидовом пиджаке, длинном светло-сером плаще, с зачёсанной назад
и изрядно напомаженной чёлкой. Правая ладонь его лежала на дверном косяке, ноги стояли крест-накрест с упором на правый носок, на лице сияла широченная улыбка, вся поза источала вальяжность и разухабистость.

В первую секунду Константин Ардалионович растерялся, но, овладев собой, развёл в стороны руки для объятий и воскликнул:

– Приветствую штатника в нашем логове!

Сергей тоже как будто растерялся, но быстро парировал:

– Айвелигового, прошу заметить, штатника.

– Ага! Так ты – поклонник «Лиги плюща»?

– Ого! – засмеялся Серёжка.

Они рассмеялись, потом обнялись, и Константин повёл гостя к себе.

Теперь они сидели vis-a-vis за столом, пили чай и осторожно разглядывали друг друга. Сергей рассказывал о Рязани, о дяде Коле и его семье, о том, как работал на заводе, где была изобретена двухрядная сажалка. Он попытался обставить изобретение сажалки как обстоятельство комическое, но Константин почему-то не только не засмеялся, но и слегка нахмурился. Потом Сергей поведал, как сдавал в университете экзамены
и сдал на «отлично», как поселился в общаге и как привёз с собой трофейные пластинки, подаренные дядей. От него не ускользнуло, что пластинки тоже не вызвали у Константина одобрения. А ещё Сергей отметил, что Константин по-прежнему живёт один – не женат; что он почти не изменился, разве только седые волосы появились да гимнастёрку сменил строгий чёрный костюм. «Одинок и наверняка по-прежнему смешон
в своём пропагандистском угаре», – подумал Сергей. И сказал:

– А что же Марья Гавриловна?

Константин закатил глаза, развёл руками, словно давая понять, что ничего нельзя изменить в этом мире.

– Ты же помнишь, – ответил он со вздохом, – Марья Гавриловна
и тогда уже была не молода.

– Да, конечно, – вздохнул и Сергей. – А Инна Леонидовна?

Константин довольно ухмыльнулся:

– Замуж, представь, вышла наша Инна Леонидовна. Уехала от нас. Вскоре после того… после твоего отъезда через год, наверное. Сейчас её и ваши комнаты объединили. Там одна семья живёт.

– А как же кружок достоевцев? Помните?

– Ну ещё бы!

И они рассмеялись, как будто помахали прошлому.

– Да, – заметил Сергей, – вот как всё меняется.

– Расскажи лучше о себе: как, что? Как ты здесь – в Москве? Чем занят, чем увлечён.

– А что я? – Сергей вдруг заскромничал и засмущался. – Лучше скажите, откуда вы про «Лигу плюща» знаете?

– Серёжа, я ведь преподаватель – мне ли не знать! – засмеялся Константин. – А ты про неё откуда знаешь?

– Так я же студент! Мне ли не знать…

– Ну так и расскажи, как учишься, чем занимаешься!

– Да что тут рассказывать, Константин Ардалионович! Учусь в МГУ на историческом. На саксофоне играю – увлечение такое.

– Модное увлечение, – заметил Константин.

– Интересное. И любимое, – поправил Сергей.

– Ну, знаешь, нелюбимое увлечение – это было бы чересчур!

– Тоже, наверное, думаете, что родину продам? – насмешливо и заглядывая Константину в глаза, спросил Сергей после короткой паузы. –
Вот уж никогда не видел связи!

– Не думаю, – спокойно отозвался Константин. – А связь прямая.
А не видишь ты её, потому что не хочешь и потому что так удобнее.

– В чём же связь?

– В том, что играете вы не столько из любви к музыке, сколько из очарования родиной этой музыки. А дальше начинается политика. Вот и всё.

 – Ладно, не будем об этом, – продолжал Сергей, косясь на «Записки Пиквикского клуба». – Ну-у-у, что ещё? Много знакомых. Бываю в интересных местах. Читаю…

– Что читаешь, расскажи! – перебил Константин.

– Хм… Ну, положим… в «Новом мире» много интересного.

– Согласен! Интересного много. И что же, к примеру, тебе по-
нравилось?

– Странный вопрос, – Сергей выдержал паузу. – Солженицын, конечно.

– Так я и думал! – воскликнул Константин и чему-то обрадовался.

– Почему, интересно?

– Да как тебе сказать… Весь твой внешний вид – это сплошная фронда. Отсюда я заключаю, что фронда гарантированно покажется тебе привлекательной.

– А вы считаете, что Солженицын – это только фронда и ничего больше?

– По большому счёту – да! Хотя есть нюансы.

– Что за нюансы?

– Знаешь, объяснять долго, и не уверен, что будет интересно. – Константин поморщился. – Не в нюансах дело, они лишь придают картинке оттенки. Ну, в том смысле, что это не та фронда, как у тебя, например.

– И в чём, в чём разница?

– Ну хотя бы в том, что у тебя фронда ради фронды.

– А у него?

– А у него фронда обусловленная. Не было бы выгоды – не было бы и фронды.

– Выгоды?! Какая же выгода, если он так рисковал?

– Ничем он не рисковал, Серёжа. Вернее, он рисковал не больше, чем буржуа, вкладывающий деньги в новое предприятие.

Сергей фыркнул.

– Как вы можете это говорить? Вы что, продолжаете верить в… – он запнулся.

– Ты хочешь спросить, – улыбнулся ему Константин, – продолжаю ли я верить в революцию? Да, Серёжа, продолжаю.

– Я не то что о революции… – замялся Сергей.

– Понимаю! Ты о правильности пути и о справедливости.

– Да! Разумеется. И о том, что уродство должно быть исправлено.

– А что ты называешь уродством, Серёжа? – Константин подался вперёд, как будто ответ на этот вопрос интересовал его более всех других.

– Систему, конечно, – чуть подумав, ответил Сергей.

– Систему? Угу… А ты понимаешь, что для того, чтобы ты мог… –
он запнулся, точно подбирая слово, – чтобы ты мог заниматься любимым делом в своё удовольствие, должна существовать система. Чтобы ты мог учиться, должна существовать система. При этом система, – он начал загибать пальцы, – бесклассовая и бескастовая. Чтобы даже ты, сын простых родителей, мог не вкалывать с пятнадцати, а то и с десяти лет на дядю, а выбирать: дудеть ли тебе на трубе, стоять у станка или учиться в одном из лучших университетов мира. А такая система сама по себе появиться не может, и тот самый дядя никогда не откажется богатеть за счёт других. И чтобы заставить дядю отказаться, нужны нечеловеческие усилия и – увы – большие жертвы.

 Ему показалось, что в глазах у Сергея промелькнул интерес. Но спустя мгновение интерес этот угас, а глаза стали насмешливыми.

– Константин Ардалионович, ведь я знаю всё, что вы скажете, – усмехался Сергей. – Эксплуатация трудящихся, пролетарии всех стран…

– Видишь ли, Серёжа, я ведь тоже знаю всё, что ты скажешь, – перебил его Константин. – Едва ты появился на пороге, а я уже знал все твои предпочтения и все твои убеждения. Я знаю, о чём ты говоришь
с приятелями и куда вы ходите вечерами. Знаю, о чём ты мечтаешь
и какие слова используешь. Тебе кажется, что всё это очень сложно, что ты и сам сложный. Но на деле ты примитивен, уж извини. Ты сам выбрал эту примитивную сторону бытия.

– Всё это пропаганда, Константин Ардалионович. *Уж извините* . А в неё
никто уже не верит, потому что все знают: пропаганда нужна Софье Власьевне, как ритуалы церкви – иначе никто не придёт и не поверит.

– Софье Власьевне, значит, – мрачно проговорил Константин. –
А ведь за эту власть люди кровь проливали, Серёжа.

– Ага, только не всегда свою.

– Любая система должна себя защищать. Иначе она окажется нежизнеспособной. А тут, у нас, история небывалая, никогда прежде не возможная и оттого многим непонятная.

– Да как вы не можете понять!.. – воскликнул Сергей.

– Нет, – твёрдо перебил его Константин, – это как *ты* не можешь понять, что быть таким, как ты хочешь – со всеми своими причудами, ты можешь только благодаря системе, даже если она пытается ограничить тебя! И потом. Ты не учитываешь исторический контекст, ты рассуждаешь как тёмный, дремучий мужичок. Когда насилия становится слишком много, отношение к нему меняется. Это же просто! Начиная с Ходынки, мы пережили слишком много насилия. Кровавое воскресенье, Ленский расстрел, Японская война, Империалистическая, Гражданская, интервенция… И всё это за двадцать с небольшим лет. Думаешь, такое проходит даром?

И в ответ на презрительно-недоверчивую гримасу vis-a-vis историк воскликнул:

– Да! Пусть это кажется тебе парадоксом, чепухой, пропагандой, но это так!

– А как же другие страны? Штаты, например, – всё с той же миной спросил Сергей.

– А что ты знаешь о Штатах? И не делай такое лицо, пожалуйста. Ты действительно понятия не имеешь ни об Америке, ни об американцах. И подражаешь ты не американцам, ты всего лишь пытаешься выглядеть так, как в твоём представлении выглядят американцы.
Но даже чёрт с ним, с подражанием, – подражай хоть зулусам. Но разве в Штатах шла война? Сначала одна мировая, потом гражданская, потом другая мировая… Разве Штаты были под оккупацией и потеряли десятки миллионов своих мирных граждан? И потом, ты уверен, что всё, восхищающее тебя в Штатах, было бы в принципе возможно, если бы не наша революция? А?..

– Всё это опять пропаганда, – засмеялся Сергей. – Всё это мы уже слышали, а потому не верим – видим-то другое.

– Во-первых, – устало сказал Константин, – если неприятный тебе человек скажет, что дважды два четыре, это не означает, что нужно бросаться его опровергать. Во-вторых, слова «пропаганда» и «советский» –
это не синонимы. И может статься, это ты сейчас говоришь с чужого голоса, с голоса чужой пропаганды. И не с системой надо бороться, Серёжа. А скифа из себя изживать.

– Скифа?

– Или кипчака, если так больше нравится.

– А как же моя мама? – тихо спросил Сергей.

– Серёжа, я очень сочувствую тебе, – так же тихо ответил Константин, помолчав и как будто подыскивая слова. – Но я ничего не знаю
о том, что произошло с твоей мамой.

– Вы хотите сказать, что всё… всё было правильно?

– Я не знаю. А говорить огульно я не хочу.

Они помолчали. И оба почувствовали, что устали и что говорить больше не о чем. Сергей встал.

– Спасибо, Константин Ардалионович. Мне пора.

И добавил зачем-то:

– Я позвоню.

**\* \* \***

Ещё в Рязани Сергей мечтал побывать в «своей» квартире. Он представлял, как входит в комнату, где жил когда-то, как садится на диван... Многие хотят вернуться в прошлое, хотя и не знают, для чего это нужно.

В Москве он всё никак не мог решиться появиться в квартире. Сколько раз он бывал на Арбате и даже как-то зашёл в подъезд. Но позвонить не решался. Зато по табличкам на двери он выяснил, что из прежних жильцов в квартире остался только Константин. Через год он всё же решился. Взглянуть на Константина тоже было любопытно, однако не ради учителя истории Сергей стремился в эти комнаты.

Казалось, здесь ничего не изменилось – даже запахи были те же, что и десять лет назад. В прихожей та же вешалка, тот же потемневший паркет, а на дверном наличнике в их бывшую комнату Сергей разглядел короткие полоски, сделанные синим и красным карандашом, – так они с Ленкой отмечали свой рост. В комнате Марьи Гавриловны стоял всё тот же стол, на котором прежде старушка раскладывала пасьянсы. Именно на этом диване они с Ленкой лежали, когда шёл обыск и когда Марья Гавриловна назвала их «бедными деточками». Даже фотографии на стенах были ему знакомы – все эти барышни в белых передниках, с бантами в косах, эти дамы в перстнях висели здесь ещё при Марье Гавриловне.

Ему стало тоскливо. Хотелось что-то сделать, куда-то пойти, но он не понимал – что, куда… Вдобавок к этой сумятице Константин вызвал его на бессмысленный спор, надеясь, очевидно, в чём-то переубедить. Полемический запал взял верх над педагогическим опытом, и Константин не учёл, что навеянные квартирой страшные воспоминания, особенно после долгой отлучки, не позволят собеседнику не то что принять иное мнение, но хотя бы его услышать.

Впрочем, затея учителя была пустой и по другой причине. Есть, как известно, время любить и время ненавидеть, время собирать камни
и время, когда эти самые камни разбрасывают. И вот – наступило время разбрасывания камней на застеклённой веранде. Чтобы осколки разлетались во все стороны, вспыхивали на солнце, резали босые ноги
и окрашивались кровью. Те, кто разбрасывал в ту пору камни, считали себя особенными. Все остальные так не считали, но особенным это было неинтересно. Они знали, что они лучшие. И вообще знали всё про «лучшее» – где лучшее место на планете, где делают лучшие штаны и ботинки, где лучший харч и лучшие забавы. Они стремились туда, в эти палестины, и посмеивались над неосведомлёнными простецами. Они надевали на себя особенные вещи и слушали особенную музыку –
это были пароли, а тот, кто не понимал их предпочтений, был простецом и чужаком. Они могли узнавать друг друга по ботинкам и даже по подошвам ботинок, они отличали своих от чужих по подкладке пиджака и по строчке на отворотах штанов. Они были молоды и, как все молодые, романтичны и мечтательны. Но романтизм их был особого рода и отзывался на имена городов. Достаточно было сказать «Будапешт», а чуть позднее ещё и «Прага», как в их глазах появлялся тревожный блеск, а кулаки негодующе сжимались. И этот блеск, эти кулаки тоже служили опознавательным знаком в мире простецов.

Они знали, что их отцы были на баррикадах, и тоже грезили баррикадами. Но, по странному расположению звёзд, они видели себя по *ту* сторону баррикад и смотрели на отцов в прицел.

Они носили кресты и верили в переселение душ, они осуждали войну, но только в одном-единственном случае. Они воображали, что борются за свободу, но не могли объяснить, что это значит. К тому же их свобода оказалась патентованным товаром.

«Молодые штурманы будущей бури» – так или вроде того думали они о себе. Но не было ни штурманов, ни бури. Что же было? Кто-то назвал это восстанием лавочников, грезивших о том, чтобы отпирать свои лавки, когда им вздумается. Но всё это слишком отвлечённо и не слишком красиво. Дайте нам другое объяснение, воззовём мы. Чтобы всё стало понятным раз и навсегда, и чтобы человек не был унижен.

Но никто так и не сказал до сих пор, что означало это разбрасывание камней на застеклённой веранде. Чем было оно вызвано. Скольжением далёкой звезды? Смещением земной оси? Пробуждением лунного дракона? Никто в целом свете так и не дал исчерпывающего объяснения.

Сами того не ведая, они возродили древние чаяния грядущего будто бы Царствия Божия на земле. И, не утруждая себя долгой думкой, потянулись туда, где, по их представлениям, это Царствие уже наступило.

Ничто не могло бы поколебать Сергея Дмитриевича в его вере и упованиях. Перед ним всегда был образ его матери – арестованной и навсегда пропавшей по воле неизвестных ему людей. А рядом был образ учителя истории – пусть принципиального и последовательного, но всё же – наивного резонёра, грезившего миражами и доверявшего убийцам матери. И когда стали падать старые кумиры, возликовал Сергей Дмитриевич.

Учась, он нашёл сестру, жившую в Ленинграде. С тех пор они поддерживали отношения – обменивались открытками к праздникам, иногда писали друг другу письма, бывало, и перезванивались. Елена Дмитриевна присылала в посылках варенье собственного приготовления,
а Сергей Дмитриевич в ответ отправлял московские конфеты. С рязанскими родственниками отношения прервались. Поначалу они писали друг другу, но однажды Галя исподволь и осторожно намекнула, что Ваня побывал в Праге. И с тех пор Сергей Дмитриевич стал стесняться этого родства. «Не мне, сыну невинно репрессированной, – говорил он, –
водить дружбу с *такими* людьми». С ним соглашались.

Насмешливый, презирающий, он вступил в жизнь с сознанием своего превосходства над большинством соотечественников. Но, не успев оглянуться, однажды обнаружил себя лысеющим, обрюзгшим, ссутулившимся, забросившим свой саксофон и влачащим дни в пыльной редакции, заваленной рукописями и разномастными книгами
с дарственными надписями. Сергей Дмитриевич отпустил усы, похожие на платяную щётку, приобрёл привычку громко откашливаться
и выпустил два сборника стихов собственного сочинения с небольшой книжкой рассказов в придачу. К этому времени взрослая дочь Сергея Дмитриевича жила в Ленинграде, а сам Сергей Дмитриевич занимал двухкомнатную квартиру в районе Киевского вокзала. Он был женат на известной в Москве критикессе, дочке партийного чиновника, критиковавшей с удовольствием и не столько в силу профессиональной необходимости, сколько по природной склонности. Читая написанные женой критические разборы, Сергей Дмитриевич думал порой, что не будь у неё специального образования и номенклатурного отца, призванием её стала бы скамейка у подъезда, где добродетельные старухи выявляют общественные язвы и личные пороки окружающих.

Ещё у Сергея Дмитриевича были друзья среди известных писателей, с которыми он охотно проводил время в Центральном доме литераторов, потягивая коньячок и обмениваясь глубокомысленными замечаниями на эзоповом языке. Замечания, само собой, касались мрачной действительности, а заодно и исчезнувшей в недрах веков (подобно граду Китежу), скрывшейся в волнах времени былой России. Надо сказать, что окружали Сергея Дмитриевича люди с непреклонными убеждениями
и жёсткими представлениями обо всём на свете – о прошлом и настоящем,
о низменном и благородном, о прекрасном и безобразном. И как раз идеалом благородства и красоты в этих представлениях выступала ушедшая в пену дней Россия. С колокольным звоном, пирогами-расстегаями, птицами-тройками и всенепременной чёрной икрой. В этой чудесной России все были сыты и счастливы, жили одной дружной семьёй и буквально во всём опережали остальной мир. Один знакомый писатель
в ознаменование своих убеждений даже носил перстень с изображением последнего императора. Сергей Дмитриевич хотел было заказать такой же, но рассудил, что на подражании далеко не уедешь, и оставил затею.

В кругу Сергея Дмитриевича, тоже вполне сытом и не имевшем выраженных оснований горевать, отчего-то было принято испытывать тоску по временам, в которые никто и никогда не жил и о которых судили исключительно по русской литературе. А поскольку литературу здесь знали неплохо, то создавалась иллюзия знания описанной жизни, в ностальгии по которой коротали дни усатые и обрюзгшие приятели Сергея Дмитриевича.

Впрочем, их грёзы не ограничивались прошлым – идеал настоящего тоже был хорошо известен и произрастал всё из тех же трофейных фильмов, так любимых Сергеем Дмитриевичем. И не только им. Будущее, как водится, было туманным. От будущего ждали перемен и своеобразного слияния настоящего с прошлым. «Да, – говорили они, – пока жива Софья Власьевна, добра не жди». И лукаво переглядывались, довольные, как ловко обводят они вокруг пальца обсуждаемую. Всё было загадочно, таинственно, неопределённо и не особенно понятно. Но в этом хаосе идей, в неразберихе понятий бился нерв, стучал пульс, придававший жизни остроту, наполнявший каждый день невыразимым смыслом. Сергей Дмитриевич, как в юности, снова попал в замкнутый мирок со своим языком, мировоззрением и даже со своей культурой
и образом жизни.

Гомон прокуренных ресторанов, коньяк, захламлённая редакция, набитая книгами квартира, санаторий в Ялте или в Паланге, снова коньяк. И разговоры, разговоры, разговоры… Жизнь, как ручей среди камней, протекала среди удовольствий, незаметных и несознаваемых, принимаемых как данность. Словно это была не жизнь, а смена времён года.

А потом случилось невиданное, но горячо ожидаемое: газеты запестрели новыми словами. Отовсюду только и слышалось: «гласность», «ускорение», «свобода». Чёрт его знает, что означали эти слова! Но все были уверены: наверняка что-нибудь хорошее. В кругу Сергея Дмитриевича началось оживление и даже брожение. Перемен не просто ждали, их алкали и вожделели, чая при этом наступления каких-то небывалых новых времён – с православным царём и кока-колой. Новые времена не торопились. Хотя перемены действительно стали происходить, напоминая ледоход, когда лёд вдруг начинает трещать, вздыбливается,
и вот уже льдины одна за другой уплывают, чтобы навсегда исчезнуть и высвободить воду.

Мимо Сергея Дмитриевича проплывали разные льдины. Но так уж сложилось, что внимание его было приковано к двум: возможности перебраться в цивилизованную страну – так это тогда называлось –
и к разрешению ознакомиться с делами репрессированных родственников. Об отъезде Сергей Дмитриевич задумывался не раз. Да и жена уговаривала его ехать в Германию. Способов было несколько. Во-первых, жена имела этническое право на переезд. А во-вторых, и сам Сергей Дмитриевич получил интересное предложение. Однажды в рабочем кабинете у него раздался звонок. Сергей Дмитриевич, ненавидевший телефонные разговоры на работе, поднял трубку и недовольно буркнул в неё:

– Редакция. Отдел поэзии.

Неприязнь Сергея Дмитриевича к телефонным звонкам связана была, прежде всего, с тем, что звонили ему преимущественно авторы и требовали ответов на два вопроса: когда будет опубликована подборка, и если в публикации отказано, то каковы причины отказа. Приходится признать, что Сергей Дмитриевич любил отказывать. Более того, он получал удовольствие, объявляя настырному автору, что стихи его не могут быть напечатаны по причине полнейшей бездарности. В такие мгновения Сергей Дмитриевич напоминал маньяка, приковавшего жертву к батарее и объявившего, что живой она отсюда не выйдет.
А далее оставалось лишь сладострастно и похотливо наблюдать, как жертва, начиная с угроз и возмущений, постепенно переходит к слезам и мольбам, признавая неизбежность и неумолимость происходящего,
а равно и безвыходность своего положения.

Но вопреки ожиданиям Сергея Дмитриевича, в тот раз позвонил не автор. Звонивший, как показалось Сергею Дмитриевичу, говорил
с лёгким акцентом. Он поздоровался, справился, с Сергеем ли Дмитриевичем говорит, и, удостоверившись, что искомый абонент на проводе, представился.

– Дирк Ратценбергер. – И пояснил, что работает в западногерманском издательстве и предлагает Сергею Дмитриевичу – да, да, лично ему, писателю Сарицкому, – интересное сотрудничество.

– Сейчас такое время, – пояснил герр Ратценбергер, – когда люди хотят знать правду. Больше правды! Нужно говорить о том, о чём раньше нельзя было говорить.

– Вы имеете в виду тоталитаризм? – уточнил Сергей Дмитриевич.

– О! – засмеялся его собеседник. – В общем – да. Но всё же тут нужна… э-э-э… некоторая тонкость. Не так прямолинейно! Никому не нужны новые лозунги – их время прошло. Ну, вы знаете Катынь. Или как большевики использовали детей для диверсий. Такие темы. Это интересно!

– Но, кажется… всё это совсем наоборот… – неуверенно проговорил Сергей Дмитриевич. – То есть… это с другой стороны…

Он хотел как-то поделикатнее выразить свою мысль, чтобы не обидеть нового собеседника. Но тот лишь усмехнулся в ответ на его деликатность.

– Ну вы же взрослый человек, – снисходительно заговорил он, –
и вы должны отличать сталинскую пропаганду от истинного положения дел. Вот и донесите эту правду до соотечественников. И ваших друзей за рубежом. Тем более в этом есть потребность.

– Да, да, конечно, – вынужден был согласиться Сергей Дмитриевич, задавшийся тем временем вопросом, а не прослушивается ли его телефон и не заинтересуется ли, по старой памяти, власть его контактами
с иностранцами.

Но собеседник словно услышал эти мысли и почти сочувственно проговорил:

– Мы понимаем – это непросто. Но теперь всё изменилось, и президент вашей страны – большой друг Германии. В любом случае мы будем помогать вам работать. И документами, и гонораром, и… э-э-э…
убежищем. Вы можете вместе с вашей супругой переехать куда-то
в Германию. Там у вас будут условия для работы – маленький домик, хорошее питание, отдых… Всё, что надо писателю.

Сергею Дмитриевичу захотелось спросить, почему предлагаемый домик должен быть непременно маленьким. Но он передумал, решив не привередничать. И сказал только, что нужно время всё обмозговать.

– О! – сердечно воскликнул Дирк Ратценбергер. – Конечно! Я вас не тороплю. Мозгуйте, сколько будет нужно.

Они условились, что Сергей Дмитриевич взвесит все за и против, осмыслит ситуацию и сообщит господину Ратценбергеру о своём решении по телефону, номер которого немецкий издатель продиктовал тут же.

Всё было просто и буднично, без тайн и выраженных опасений, без оглядок и шепотков, без надвинутых на глаза шляп и поднятых воротников. А потому Сергей Дмитриевич, в общем и целом, не воспринял это предложение как нечто, с чем порядочному человеку не стоит иметь дела. Вернее, одинокие мысли забредали ему в голову, но Сергей Дмитриевич только пожимал плечами и говорил сам себе: «Да ну! Ничего похожего!.. Просто есть сейчас интерес – время такое!..» И на этом успокаивался. А между тем…

**\* \* \***

Между тем декабрь ещё только начинался, а Москва уже вовсю прихорашивалась, напоминая спешащим горожанам, что Новый год не за горами и пора бы уже начинать готовиться к празднику – запасаться шампанским и крабами, икрой и сервелатом, подарками и ёлочными игрушками. И ещё пару лет назад всё так и было бы – рядовые москвичи рыскали бы по городу в поисках сервелата, а Сергей Дмитриевич отправился бы на улицу Грановского, где от имени тестя приобрёл бы всё, что нужно к новогоднему столу. Но теперь многое изменилось. Сервелат можно было купить в коммерческом магазине или в палатке у метро. Но в магазине ароматная палка подкопчённого рубленого мяса стоила целое состояние, а в ларьке покупать было страшно, потому что рассказы о найденных в спелёнатом фарше когтях и мелких зубах обошли уже всю Москву. Но в любом случае внимание Сергея Дмитриевича было занято не приближающимися праздниками. Путь его пролегал на Кузнецкий мост, где в тесном помещении собирались желающие узнать правду о своих родственниках, которые, подобно матушке Сергея Дмитриевича, однажды вдруг исчезли, неизвестно куда
и непонятно почему.

В начале декабря подошла очередь Сергея Дмитриевича ознакомиться с делом Сарицкой Нины Борисовны, подарившей когда-то ему жизнь, а впоследствии бесследно пропавшей. По пути на Кузнецкий мост Сергей Дмитриевич поймал себя на мысли, что волнуется так сильно, будто готовится к всамделишной встрече. Впрочем, решил он, узнать хоть что-нибудь значило бы обрести родительницу вновь.

Добравшись до Кузнецкого, он сбавил шаг, оттягивая долгожданное свидание. Он был воодушевлён. Вот сейчас… Ещё немного, и он наконец-то узнает правду. Он остановился, поднял глаза на низкое серое небо, посмотрел, как мелкие снежинки появляются перед лицом и тихо соскальзывают под ноги. Вообще-то, он и так знает правду. Но сейчас получит неопровержимые доказательства, увидит документы, ознакомится с показаниями… А что потом? Потом он будет просто обязан рассказать о полученном знании. Рассказать и, конечно, написать. Воспоминаний, исследований появляется сейчас немало. Это неудивительно – люди изголодались по правде и буквально кидаются на доступные им крохи.
А правда пока не открыта полностью. Те, кто всё это время скрывал её, лишь отщипывают кусочки и рассыпают крошками, словно ломоть хлеба перед курами. Но ведь и Сергей Дмитриевич сможет добавить своих крошек. Тем более как сотрудник журнала он имеет недурную возможность напечатать собственные воспоминания. Конечно, лавры Солженицына ему уже не снискать, но всё же история может получиться оригинальной – ведь он напишет о матери. И Сергей Дмитриевич уже видел, как
в нескольких книжках журнала выходит его будущий труд, посвящённый невинно пострадавшей матери и срывающий личины с её палачей.

Его встретили жёлтые застеклённые шкафы, пепельницы на письменных столах, протёртые стулья и кресла и яркий белый свет из потолочных стеклянных трубок.

Он оказался за одним из столов. Перед ним легла распухшая картонная папка с тесёмками на боку. Дрожащей рукой он потянул за тесьму, папка с тихим шелестом раскрылась, и Сергей Дмитриевич прочитал:

 Постановление. …Установлено, что с 1942 по 1944 гг. работала в тюрьме посёлка N, где приводила в исполнение массовые смертные приговоры. Сарицкой (в то время Будашевой) расстреляны партизаны, члены их семей, включая детей. После освобождения Белоруссии Советскими войсками уехала вместе с немцами, после чего попала в лагерь в Кёнигсберге. После освобождения Советскими войсками лагеря, выдала себя за медсестру, попавшую в плен в 1941 г. во время битвы за Москву. Вскоре после освобождения из лагеря вышла замуж за советского военного врача Дмитрия Ивановича Сарицкого и переехала с ним в Москву. До 1954 г. находилась в розыске. Опознана свидетелями её преступлений…

Сергей Дмитриевич не мог поверить своим глазам. Нет, это какая-то ошибка – ему дали чужое дело. Хотя на фотографии была действительно его мать, да и отца – военного врача – действительно звали Дмитрием Ивановичем. А вот девичью фамилию матери он не помнил. Он всегда относил это к аресту и винил во всём власть: чужой преступной волей распалась связь времён, развалилась семья, и он не узнал своих корней… Тут Сергей Дмитриевич сообразил: он так торопился раскрыть заветную папку, что не посмотрел ни название, ни номер дела. Он резким движением закрыл папку и прочитал на обложке: «Уголовное дело № 54. По обвинению Сарицкой Нины Борисовны в преступлении, предусмотренном пунктом “а” статьи 64 УК РСФСР».

Сергей Дмитриевич знал, что это за статья такая – в советской литературе любили на неё ссылаться. Шпионские романы всегда вызывали у Сергея Дмитриевича презрение, хотя читать их доводилось. Шестьдесят четвёртая статья подразумевала измену Родине. То есть деяние, как гласил закон, «умышленно совершённое гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти». «Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью…» –
мелькнуло у него в голове. Но он всё ещё не верил, что это имеет отношение к его матери. Он стал перебирать листы… Описи, квитанции, рапорты, расписки… Наконец дошёл до протоколов допроса. Вопросы о родителях, о семье… как призывалась… как попала в плен… Вот!

Вопрос: Расскажите о том, как вы оказались в Белоруссии.

Ответ: В плен попала под Москвой. Но потом меня отправили в Штатлаг
№ 337, недалеко от Барановичей. Это Белоруссия.

Вопрос: А как вы оказались в тюрьме посёлка N?

Ответ: В лагере предложили работать. Я согласилась. Обещали питание, проживание, даже заработную плату.

Вопрос: Вы знали, что за работа?

Ответ: Знала, что в тюрьме. И всё. Сначала мне не объясняли обязанностей. Потом, когда согласилась, научили стрелять и брали на облавы партизан.

Вопрос: Вы стреляли на облавах в партизан?

Ответ: Я не знаю, в кого стреляла. Мне говорили, я делала.

Вопрос: А когда вы стали расстреливать пленных?

Ответ: Впервые – летом 1942 г. Начальник тюрьмы приказал мне, я не могла отказаться – тогда бы меня расстреляли.

Вопрос: Скольких человек вы тогда расстреляли и как именно?

Ответ: Тогда пятерых. Пулемёт привезли на подводе, потом сняли, поставили напротив пленных – метрах в пятнадцати. Я присела на корточки, навела пулемёт и, когда дали команду “Огонь!”, застрочила. Они падали в яму – там уже была яма выкопана…

**\* \* \***

Короткий зимний день уже умер, когда Сергей Дмитриевич вышел на улицу и остановился в оцепенении. Ему казалось, что внутри у него всё перевернулось да так и застыло вверх тормашками. В голове гудело. Он словно слышал то реплики и вопросы следователя, то ответы матери. Он распадался, раздваивался и начинал спорить с самим собой. «Что же это? – думал первый Сергей Дмитриевич. – Всё справедливо?» «Ничего не справедливо, – угрюмо отвечал второй. – Ведь ясно же – её вынудили так поступить. Не начни тиран войну, ничего бы этого не было. Люди не были бы поставлены в условия, когда приходилось делать страшный выбор и нести неподъёмную ношу». «Если даже
и так, – робко продолжал первый Сергей Дмитриевич, – всё равно получается, что с точки зрения закона она получила по заслугам». «Чушь! – кричал второй. – Закон тут ни при чём. Закон можно любой написать». «Ни в одной стране мира!..» – восклицал он чуть погодя, не вполне понимая, что именно вкладывает в это восклицание и чего именно нет ни в одной стране мира. Ведь как ни крути, но получалось, что буквально всё, о чём бы он ни думал, есть, так или иначе, повсюду. Да ещё
и в превосходящих количествах. И это было ужасно.

Он постоял немного и побрёл по Кузнецкому мосту вниз к Неглинной и Петровке, бессмысленно разглядывая сновавших вокруг прохожих. Мимо него мелькали серые пальто, коричневые дублёнки, пёстрые пуховики, красные мохеровые шарфы, пыжиковые шапки… Всё казалось ему ещё более нелепым, чем обычно. Большие стеклянные витрины Кузнецкого, окна ЦУМа и окружавшие его палатки с дурацкими гирляндами лампочек – всё это ярко светилось, как будто ничего не произошло, как будто мир не перевернулся.

Сергей Дмитриевич чувствовал себя обманутым. Но в том, кто именно его обманул, он не хотел себе признаваться. Выходило, что те, кого он давно уже ненавидел, были не то чтобы правы – этого Сергей Дмитриевич ни за что бы не признал! – но, во всяком случае, не так уж и виноваты. А виноваты были как раз другие – те, кого Сергей Дмитриевич ни за что бы не стал обвинять. Но главная странность всей этой путаницы заключалась в том, что несправедливо, как выяснилось, ненавидимые Сергеем Дмитриевичем стали ему ненавистны вдвойне.

Переходя через Петровку, Сергей Дмитриевич обернулся на просигналившую машину и вдруг задался вопросом: а чего ему всегда не хватало? Чего он хотел? Но ответ был готов и мешал думать. Ответ висел в воздухе и передавался из уст в уста. И раздумывать над ним было бы так же нелепо, как подыскивать пионеру ответ на призыв всегда быть готовым. Конечно свободы! Ему не хватало свободы. Но тут из глубин памяти поднялся образ Марьи Гавриловны с её теургией и каббалистикой. «Что есть свобода»? – вопросил Сергей Дмитриевич у призрака, виденного Марьей Гавриловной. Но ответить было некому. И Сергей Дмитриевич поспешил прочь от проклятых вопросов.

В метро он уселся рядом с гражданином его лет, увлечённо читавшим газету. Скосив глаза, Сергей Дмитриевич увидел большой портрет Берты Бородкиной и выхватил пару строк из текста статьи. Писали, будто знаменитая взяточница жива, а приговор суда так и не был приведён в исполнение. Хозяин газеты перехватил взгляд Сергея Дмитриевича и, желая, очевидно, обсудить прочитанное незамедлительно, обратился к нему:

– И что вы думаете об этой воровке?

– Да, право, не знаю, – неохотно проговорил Сергей Дмитриевич, дёрнув плечом. – Козу отпущения сделали из тётки.

– И ведь до сих пор не расстреляли. Каково?

– А вам надо, чтобы непременно расстреливали? Неужели мало вам крови? – неожиданно для самого себя, громко, торопясь и волнуясь, заговорил Сергей Дмитриевич. – Откуда эта азиатская жестокость у целого народа? Как же вы все любите «высшую меру»! – последние слова он произнёс, скривившись, давая понять, что думает об этой самой «мере».

Сосед, однако, встретил его гневную тираду на удивление спокойно.

– Крови? – повернулся он к Сергею Дмитриевичу.

И тот увидел совсем рядом чужое удивлённое лицо.

– «Крови», вы говорите? – сосед так удивлялся, будто Сергей Дмитриевич предлагал ему наполнить кровью стакан. – Ну уж нет! Кровь тут совершенно ни при чём! И высшая мера – не сама по себе, молодой человек, – строго и покровительственно проговорил он. – Так любимое некоторыми товарищами «гражданское общество» тоже должно себя защищать. Как и любое другое общество. Да! В том числе и при помощи высшей меры. Вы понимаете? Высшей меры социальной защиты!

Сергей Дмитриевич ощутил горячее желание плюнуть в это близкое чужое лицо. Слушая резонёрствующего перед ним пассажира, он вдруг преисполнился такой ненавистью, что предпочёл встать и выйти на первой же станции.

Спустя примерно полчаса он уже поднимался по лестнице своего подъезда в доме на Брянской улице. Машинально, не глядя, поздоровался с соседской девочкой, сбегавшей по лестнице и раскачивавшей в руке нотную папку. Зайдя в квартиру и щёлкнув выключателем, он сбросил с себя дублёнку прямо на пол. Жена была в командировке,
и Сергей Дмитриевич даже обрадовался, вспомнив, что сможет побыть один. На дублёнку упала пыжиковая шапка и перчатки. Не снимая ботинок и шарфа, он прошёл в большую комнату и опустился в кресло возле журнального столика, на котором памятником досугу возвышался красный телефонный аппарат.

По пути домой Сергей Дмитриевич всё обдумал. Сейчас он снял трубку и вздрогнул от звука вырвавшегося гудка. Потом извлёк из внутреннего кармана бумажник, из бумажника – сложенный вдвое листок из блок-
нота и навертел на аппарате записанный на листке номер. Ждать не пришлось. На другом конце провода сразу ответили, как будто ждали звонка.

– Алло… – устало проговорил Сергей Дмитриевич. – Алло… Господин Ратценбергер?

– Слушаю, – ответил знакомый голос с лёгким акцентом.

– Это Сарицкий, писатель. Пару месяцев назад вы звонили в ре-
дакцию...

– Рад слышать вас, господин Сарицкий, – раздалось из трубки. – Добрый вечер! Ну как? Вы уже обмозговали?

– Да, – выдохнул Сергей Дмитриевич. – Добрый вечер. Если ваше предложение остаётся в силе, я его принимаю.

– Я знал, что вы умный человек, – спокойно и, как показалось Сергею Дмитриевичу, безразлично произнёс Дирк Ратценбергер. – Давайте сделаем так...

Тут он умолк, и Сергей Дмитриевич даже забеспокоился.

– Алло! – воскликнул он.

– Да, да, – ответила трубка. – Я здесь. Давайте сделаем так. Вы знаете казино «Москва»?

– Это в гостинице «Ленинградская»? На площади трёх вокзалов? – уточнил Сергей Дмитриевич, хотя отлично знал это казино и даже бывал там.

– Да, так. Приезжайте завтра к двадцати трём часам. Вы скажите хосту, что я вас жду. Меня знают и проведут вас.

– Хорошо, – Сергей Дмитриевич хотел ещё что-то сказать, но в трубке стукнуло, и телефон нетерпеливо запищал в ухо Сергею Дмитриевичу.

Спал он плохо и тревожно. Во-первых, он уснул, не раздеваясь, на диване. А во-вторых, невозможно было представить, чтобы впечатления прошедшего дня так легко отпустили его. Сны проходили перед ним подобно каравану. И образы сменяли один другой, как миражи
в пустыне. Приснилась ему арбатская квартира в двухэтажном кремовом особняке. Будто стоял он в тёмном коридоре, вдыхая знакомые
и привычные запахи валерьянки, лавровишневых капель и гуталина. Не замечая Сергея Дмитриевича и не касаясь ногами пола, проплыла по коридору Марья Гавриловна, бормотавшая неясные слова и державшая под руку незнакомую Сергею Дмитриевичу и совершенно прозрачную даму. Процокала каблучками Инна Леонидовна, бросившая на ходу: «За слезинку ребёнка и расстрелять не грех». С гулким стуком прогремели где-то в недрах квартиры сапоги Константина Ардалионовича.
И сам он, вдруг появившись, сказал: «Скифу степь милее завода с университетом. И костёр в степи светит ярче тысячи электрических ламп. Мы хотели изменить скифа. Но он убежал и теперь на свободе. Скиф победил, Серёжа». От этих слов Сергею Дмитриевичу стало страшно. Он понял, что должен зайти в свои комнаты, подошёл и открыл дверь. В первой же комнате он увидел, что за столом сидит мать.

– Мама! – слабо позвал он, желая, чтобы она обернулась, и в то же время боясь этого.

Но она не оборачивалась и только ниже склонила голову. Он медленно подошёл и снова позвал, совсем тихо:

– Мама…

Она склонилась ещё ниже. Тогда он, зная, что не следует этого делать, протянул руку, коснулся её плеча и попытался развернуть её
к себе. Она легко поддалась, повернулась, и… Сергей Дмитриевич увидел, что у неё нет лица, закричал и проснулся…

В тот день ему не нужно было в редакцию, и он остался дома. Вечером он принял душ, неспеша собрался, надев лучший костюм.
И ровно в десять часов вечера вышел из дома. В опустевшем переулке, не доходя вокзала, он остановился у киоска, чтобы купить сигарет.
Но тут услышал шум двигателя за спиной и обернулся. Подъехал длинный чёрный автомобиль с затонированными стёклами. Сверкнула на капоте трёхконечная звезда в хромированном круге, и автомобиль остановился. Вышли пятеро одинаковых парней и направились к тому же киоску. Все были коротко стрижены, одеты в трикотажные штаны
с лампасами и чёрные кожаные куртки. Подойдя к киоску, компания тотчас оттёрла Сергея Дмитриевича от окошка.

– Господа, позвольте!.. – возмутился Сергей Дмитриевич, отступая
к бетонной урне в торце палатки.

Тут только его заметили. Вся компания повернулась к нему и посмотрела, как на диковинное недоразумение.

– Мы не покупатели, – буркнул один из парней.

– Да, дядя, а ты шёл бы мимо, – сказал кто-то ещё.

– Почему, собственно, я не могу купить сигарет? – взбунтовался Сергей Дмитриевич.

– Потому, – ответил ему третий голос.

Косоглазое лицо глянуло на Сергея Дмитриевича, непонятно, каким глазом, сплюнуло и изрекло с косой ухмылкой:

– Ты что, не понял?

А в следующее мгновение чья-то вытянутая рука внезапно мелькнула перед носом Сергея Дмитриевича, и пыжик съехал ему на глаза.

– Милиция! – пискнул Сергей Дмитриевич, хватая руками воздух.

Но ответом ему стал неистовый гогот, словно мимо пронёсся табун диких мустангов.

– Не дозовёшься! – гаркнул кто-то.

Сергей Дмитриевич попятился и, споткнувшись об урну, осел на неё, как чайная баба на чайник. И снова раздался гогот. И Сергею Дмитриевичу привиделось что-то из Майна Рида – прерии, одержимые жеребцы, бизоны... Но всё это было слишком ужасно, чтобы спокойно любоваться, и Сергею Дмитриевичу стало вдруг страшно, нестерпимо страшно. Голова закружилась, а сердце заколотилось в горле. Он схватился было за горло, но тут его словно сдавило со всех сторон, и рука безвольно опустилась.

– Э, дядя, ты чего? – услышал он откуда-то издалека.

И тут ему полегчало. Вспомнился Арбат, Марья Гавриловна, пахнуло откуда-то лавровишней… «Как хорошо…», – подумал Сергей Дмитриевич, скатываясь с урны на асфальт. Свет померк перед ним,
и Сергей Дмитриевич стал наконец-то свободен…